

Глеб Иванович Успенский

# Первая квартира



**Глеб Иванович Успенский**  
**Первая квартира**  
Серия «Столичная беднота», книга 2

*Текст предоставлен правообладателем.*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664685](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664685)*

**Аннотация**

«...Рассказ написан на материале наблюдений Успенского в Москве, где он жил в течение 1862–1863 годов. В своей автобиографии Успенский помечает: «Жил я у одной madame, где были швеи. Один из рассказов касался этого времени». Началом творческого замысла этого произведения надо считать декабрь 1863 года (очерк «Ночью», из второй части которого писатель и создал настоящий рассказ, появился в январской книжке «Русского слова» за 1864 год). ...»

# Глеб Иванович Успенский

## Первая квартира

### *(Из записок пролетария)*

...Претерпев множество неприятных и комических столкновений, неизбежных для провинциала, впервые попавшего в такой запутанный город, как Москва, я, наконец, нашел себе маленькую работу и отыскал столь же маленькую, как и работа моя, комнату. Между множеством разного рода неряшливых и непривлекательных съемщиц, которых приходилось видеть мне во время поисков квартиры, Марья Петровна, теперешняя моя хозяйка, могла смело первенствовать. В пользу ее опрятности говорило, во-первых, то, что она считала себя «мадамой», то есть содержательницей белошвейной мастерской; во-вторых, то, что она была чиновницей, супругой театрального чиновника; в-третьих, она была молода и, наконец, в-четвертых, водила знакомства с благородными семействами и в особенности с благородными мужчинами.

Все эти качества, неизвестные мне в первый момент посещения ее квартиры, не имели, однако же, той чарующей силы, которая бы могла уничтожить во мне дурное впечатление ее фигуры. Это была молодая, но истрепанная личность с редкими и едва даже не облезлыми волосами. Я ее за-

стал в самом растерзанном утреннем костюме и тем ввел, по-видимому, в неописанный ужас. Желая поправить очевидно невыгодное впечатление, произведенное ею на меня, она старалась прикинуться наивною девочкою, улыбалась, куталась в изодранную блузу и не упускала при этом случая распахнуться и пощеголять тощими прелестями собственных плеч и рук. Быть может, я бы снова пустился на поиски другой квартиры, но комнатка, которую показала мне эта мадам, понравилась мне, была недорога, удобна, и притом же тот дом, где работал я, был отсюда недалеко. Я остался.

Комнатка эта находилась на антресолях; здесь же помещалась мастерская, битком набитая швеями; и в то время, когда хозяйка показывала мне комнату, молодые лица их с особенным вниманием и улыбками рассматривали в полуотворенную дверь нового жильца.

Жилец был рад такому соседству, потому что любил деревенские песни, а здесь надеялся услышать их в изобилии, ради чего в тот же вечер и перебрался на московскую квартиру.

Окончив работу, я в тот же вечер сидел в своей комнате на подоконнике: окна были какие-то маленькие, квадратные, лепились почти около пола, как обыкновенно бывают окна на антресолях, и поэтому для того, чтобы увидеть хоть клочок неба, необходимо было садиться на подоконник.

Стоял удушливый летний вечер. Кусочек неба, который выглядывал из-за крыш огромных домов, был какого-то

грязно-желтого цвета; московская пыль тучей стояла над городом и застилала небо. Из переулка и с улицы доносился треск колес. На дворе кто-то пел. Я высунул голову в окно. На коридоре нашей квартиры, углом поворачивавшем от кухни, на растворенном окне сидели все швеи госпожи Поляковой, моей хозяйки, и вели разговоры. Заметив меня, — они замолкли; но через несколько времени разговоры начались снова, только немного тише.

— Я б ему за это показала! — храбро говорил молодой голос. — Барские помои!.. Ежели б он так со мной, как с Дуняшей...

— Молчи! — прервал шопотом другой голос, по всей вероятности голос Дуняши.

— Сластёха этакой! — продолжала первая.

— Погоди, попадешься и ты, — заметила кухарка, что я узнал по грубому голосу, который слышал утром.

— Я-то?

— Ты! И ты попадешься!

— Ну это вот! видишь вот это? Это вот на-ко...

— Ладно!.. Твой век, Татьяна, не очень-то долог! — продолжала кухарка. — Будь ты в этом покойна, и даже так, что совсем твой век короток!..

Татьяна захрабрилась пуще прежнего.

Она просыпала в ответ такое множество слов, и притом так скоро, что я ровно ничего не мог расслышать хорошенько, но из храброго тона ее голоса я, впрочем, мог смело за-

ключить, что Татьяна твердо верит в свой долгий век. Храбрые речи свои она закончила каким-то отрывистым смехом, тотчас же звонко затянула какую-то песню и вдруг бросилась за кем-то по коридору «догонять». Через минуту слышно было, как бегущие «строчили» по лестнице. Они выбежали на двор и принялись ловить друг друга, оглашая внутренность двора звонким смехом.

На окне в коридоре остались Дуняша и кухарка Акулина. Они долго молчали. Акулина, почесывая голову, зевала и неизвестно у кого спрашивала: «который-то теперича час?» Затем через несколько времени, удовлетворяя собственному любопытству, так же сонно отвечала себе;

– Теперь, надо быть, час девятый!

И успокоивалась.

Дуняша вздыхала, но вздыхала так, что решительно не было возможности сделать какую-нибудь связь между этим вздохом и тем проступком против нее кого-то, про который упомянула Татьяна: что-то вялое, неопределенное слышалось в ее вздохе.

– Поди, жильцу-то самовар пора? – лениво заговорила Акулина.

– Ты понесешь? – спросила Дуняша...

– Да хоть и ты... неси!..

– Сём я? Кто такой: скубент какой-нибудь?..

– Куды-то ходит... Говорит, отсюда близко... Бог его знает...

– Мы, Акулинушка, – вяло говорила Дуняша, – мы вместе самовар-то понесем?

– Нукштож!.. Кто его знает! Сразу человека не распознаешь... Чужой человек, кто он? Бог его знает...

Кухарка и Дуняша зевали и почесывались. Дуняша по-прежнему вздыхала каким-то звонким вздохом.

– Которого человека и знаешь, да и то надумаешься...

– И-и ка-ак!

– То-то и есть! Вот Андрюшка твой!..

– Выжига! – перебила Дуняша...

– Выжига! А был, небось, не выжига!.. Кажется, не один день знала, а когда вполне оказался! то-то и есть!.. Понесем самовар-то... О-ох, батюшки, что-то меня мутит как... Бери... тьфу, господи, то бишь, неси чашки-то! О-о-ох!

Кухарка и Дуняша исчезли; исчезли, впрочем, медленно. Дуняша, поднимаясь с подоконника, не упустила случая вздохнуть.

Я стал ждать посещения. Сидя попрежнему на подоконнике, я слышал, как в кухне, находившейся под моей комнатой, постоянно хлопала дверь и швей толпами возвращались сюда из коридора; они разговаривали, звонко смеялись, затягивали песни. В промежутках этих разговоров и смеха слышался грубый голос Акулины, раздававшийся всякий раз, как только труба самоварная грохалась обземь, чему в особенности способствовала непрерывная беготня посетительниц. В ответ на суровые предостережения Акулины разда-

вался смех, еще более громкий и дружный, снова затягивалась песня, и все шло по-старому. Должно быть, благодаря этому и постоянно обрушивавшейся трубе самовар прибыл ко мне очень поздно, но зато вместо двух гостей, которых я ожидал, к моим дверям подвалила целая ватага.

Посещение это я, впрочем, предвидел, потому что по говору и шлепанью по лестнице ног чуял, что «грядет сила несметная». Среди затаенного шопота и смеха слышалось звяканье чашек, шипенье самовара и голос Акулины, усевещивавшей кого-то нести свечу на виду. Затаенная тишина приближавшейся толпы перерывалась чьим-нибудь ударом по платью, звонким смехом и падением с лестницы. Наконец все затихло перед моими дверями.

– Фу, батюшки! – слышался вздох Акулины. – Танька, отвори дверь! отвори, что ль!..

Никто почему-то не исполнял ее приказаний. Слышалось фырканье.

– Дуняша, отвори ты!

Но и Дуняша не отворяла.

– У-у, бесстыжие! – зарычала Акулина, толкая дверь ногою, – нашли место хихикать! О господи! Отворите, сделайте милость! – обратилась Акулина, невидимому, ко мне, потому что говорила особенно ласково и звонко. Я исполнил ее просьбу, потому что и сам сделал бы это с первого слова Акулины, обращенного к своим спутницам насчет двери, если бы не казалось мне, что дверь отворится сию минуту;

кроме того, я решительно не знал, почему *они* не хотят отворить.

– Покорнейше благодарю-с! – возгласила Акулина, появляясь в комнату с самоваром. – Сделайте милость, уж извините... Обеспокоились. Наши девки, дуры, испугались...

– Чего же?

– Да ведь нешто они понимают!.. Ну, жилец новый... Бог его знает... и боятся!

Акулина поместилась у притолоки и очевидно желала со мною познакомиться.

– У нас вам будет покойно, – заговорила она тихо. – У нас тихо... Шуму это, гаму – нет... Песни иной раз девки запоют – это разве. Да и то запретесь, не слышать.

Я возился около самовара, слушая Акулину. Между тем дверь начала приотворяться; явились две-три физиономии слушательниц.

– Эта комнатка у нас счастлива, – продолжала Акулина, – не пустует, любят. У нас покойно... Потому у нас тихо и никогда чтобы чего-нибудь... Всё больше чиновники живут... Скубенты, случается... Но редко... Всё чиновники больше. Вы какие будете?..

Я сказал, что служу.

– А-а-а... чиновники! так-так... Вот у нас жил чиновник тоже... Кузьмичев... Не знаете?

– Нет, не знаю...

– Их ведь много, не узнаешь всех-то...

Дверь отворилась совсем почти; слушатели теснились у стены в темноте.

– А то, – оживляясь, заговорила Акулина, – был у нас один жилец, – так это уж только одно удивление, что за жилец такой!.. В первый раз в жизни я такого и видела... Сумасшедший, что ли, он или уж, бог его знает, какой такой! Чиновник...

– Он не служил! – слышалось из темноты.

– Отставной-с! За это сумасшествие его, надо быть, и отставили... И что только он делал! Бывало, все животики надорвешь!.. Иной раз, слышь, зовет меня... Придешь к нему, а он: «Акулинушка, говорит, есть у меня хвост?» – «Да и какой еще большой», говорю. Просто смехи – смехи неописанные! Ну и вином шибко зашибал.

– Это Солошин жених! – раздалось робко в темноте.

– Что такое Солошин? Еще что?

– Обнакновенно твой! полно отпираться-то!.. Ишь!..

– Стыдно!

– Хе-хе-хе! – засмеялась Акулина... – Шутят!..

– Он ей, – продолжали в темноте, – ковригу хлеба в именины подарил.

– И чемодан!

– Ври!

– Ты-то не ври!.. Ты больше знаешь!

– Кому знать, как не тебе? А вот я сейчас про Андрюшку...

Очевидно было, что кому-то зажали рот на полслове.

Беседа в подобном роде тянулась долго, и знакомство наше быстро двигалось вперед. Разговоры в темноте к концу визита Акулины шли во всеуслышание, хотя разговаривающие и не решились показать своих физиономий.

Акулина долго рассказывала про своих жильцов. Когда запас материала, с которым она считала нужным меня познакомить, истощился, она снова, для округления беседы, свела речь на теплоту и всякие удобства квартиры, очень обстоятельно объяснила, каким образом нужно «кликать» ее, Акулину, если понадобится что-нибудь или когда нужно в лавочку послать. Все это она вызывалась сделать с величайшим удовольствием.

— А за сапоги, — заключила она, выступая на лестницу: — за сапоги, когда почистить случится, там уж как-нибудь... что пожелуете! Приятного сна вам! Покойной ночи!

\* \* \*

Дальнейшее знакомство мое с хозяевами и другими сожителями продолжалось не в такой уже степени быстро, как в первый день переезда. Большею частью я дома не бывал, забегая только на минутку, чтобы выкурить папиросу, отдохнуть, полежать минуту, и уходил опять. Этими короткими минутами и ограничивались все мои отношения к соседям и хозяйке. Хозяин и хозяйка были люди примерные во всех от-

ношениях. Ни малейших столкновений даже «на словах», – что уж совершенно неизбежное явление вообще в супружеской жизни, – между ними и помину не было. Обстоятельство это было тем удивительнее, что для семейных столкновений у хозяев моих были весьма основательные поводы. и муж и жена имели «на стороне» множество историй, не приличных званию супругов. Сальная и постоянно заспанная физиономия супруга, поздние возвращения домой, преимущественно не в весьма полном рассудке, говорили очевидно против него. С своей стороны, по части отлучек не отставала и супруга. Но все это делалось по общему согласию, и вот отчего не было ни столкновений, ни ссор.

Поднималась хозяйка обыкновенно часов в двенадцать и тотчас принималась за туалет, в то же время не упуская случая показать, что она *мадам*: громко, как может кричать сердитая баба, кричала она на мастериц и иногда выбегала из своей комнаты в мастерскую, давала пощечину кому следует и снова возвращалась к туалету. Часто за моими дверями слышался робкий плач. Удары и пощечины приходились преимущественно на долю двенадцатилетней девочки Ани, которая была еще *ученица*, следовательно, по одному уже принципу Марии Петровны требовала пощечин. Ради этого Аня всегда ходила с опухшей щекой или губой, красными глазами и лицом, измазанным черными засохшими потоками слез.

– Тебя бьет она? – спрашивал я Аню.

– Чертовка! – отвечала она шопотом, утирая как-то локтем заплаканный нос.

– За что она тебя бьет? – допытывался я.

– Чертовка этакая!.. – твердила Аня.

Так я никогда и не мог допытаться, за что ее бьют. Если я с тем же вопросом обращался к мастерице, то получал ответ:

– За дело!..

– Что же она такое делает, что ее каждый день колотят?..

– Ничего! – говорила мастерица, словно и не слышавшая моего вопроса. – Нас тоже били! Это еще не битье! .....

– Это что! – подтверждали другие.

– Вон, поди-ко поживи у Капитонихи, на Тверской! А это что!..

– Не сахарная!

Этим заканчивались все мои сведения насчет причины битья.

Расправившись с Аней, Марья Петровна снова принималась за туалет, потом принимала заказы и, пообедав какой-нибудь дрянью (ели они все ужасную дрянью, так как все вырученные за работу деньги хозяева проигрывали в карты), торопливо раздавала мастерицам работу и отправлялась в гости, к знакомой купчихе, у которой она и оставалась часов до трех ночи. Купчиха эта была вдова, состоятельная женщина, значительно закутившая на старости лет. У ней собирались ухарские офицеры, шла игра в карты, и время проводилось очень весело. Между «дамами», собиравшимися сю-

да, иногда, из-за ревности, происходили, как говорят, и «рукопашные».

Таким образом, муж мотал и транжирил свои деньги, Марья Петровна – свои. Встречаясь друг с другом, они перекидывались двумя-тремя словами, вроде, например, «который час?» или «сегодня, кажется, четверг?», и исчезали каждый по своему благоусмотрению. Они так отвыкли от семейной жизни, что единственного своего ребенка отдали куда-то на воспитание и по полугоду не видали в глаза.

Все обязанности по хозяйству лежали, таким образом, на Акулине, которая и была действительною хозяйкою: она варила мастерицам обед, мыла полы, присматривала и прикрикивала на кого следует и в промежутках неустанно кляла Марию Петровну, как мотовку и в то же время как нищую. Причиною этого неудовольствия Акулины на хозяйку был неплатеж денег и нежелание хоть что-нибудь прикинуть к тому рублю, который оставляла она на прокормление всей огромной семьи швей. Вообще Марья Петровна не любила платить долгов и с обычною своею грациею, о которой я уже упомянул, отвиливала более полугода от хозяина, которому много была должна за квартиру. Когда являлся управляющий с требованием уплаты долга, Марья Петровна очаровывала его своим респектабельным обхождением. Управляющий, еще очень молодой человек, таял от этого обхождения и с удовольствием решался ждать будущей недели; но и через неделю он попрежнему не дожидался ничего, кроме тех

же восхитительных ласк хозяйки. У супругов, таким образом, никогда не было денег, и Акулина справедливо кляла их за это. Кроме попечений о хозяйстве и о порядке, Акулина была единственным существом, к которому все швеи обращались с вопросами и от которого получали всевозможные советы и указания и решительно все сведения о жизни. Удовлетворяя всем требованиям швей, Акулина оказывала для них, кроме того, услуги и другого рода... Но об этом после.

Тотчас по удалении хозяйки мастерицы и ученицы, сидевшие за работой часов с шести утра, опрометью бросались в кухню, хохотали и в эту пору иногда забегали ко мне, чтобы прибрать комнату, принести воды. Эти маленькие работы они исполняли с особенным удовольствием: тут у нас шли разговоры, рассказы. До полной откровенности со стороны моих соседок я, однако, дошел нескоро. В первое время они были со мной очень конфузливы: не то боялись меня, не то подсмеивались надо мной, как мне казалось. С большой вероятностью эту неподатливость их на самые простые отношения между нами я могу объяснять тем, что все они предполагали во мне какие-то затаенные против них замыслы. После довольно значительного промежутка «привыканья» друг к другу мое независимое и вовсе «не жильцовское» поведение с ними расположило их ко мне, и в последнее время я пользовался их полной откровенностью.

Из довольно большого кружка моих соседок я обращаю внимание читателя преимущественно только на три лично-

сти. Первое место между ними занимала та самая Татьяна, которая в первый вечер моего пребывания на квартире так крепко стояла за свой долгий век. Это была очень молодая коренастая девушка, бойкая, певунья и разбитная; я не мог приметить в ней только одного качества, которым она должна бы обладать в совершенстве, – смеха: она и пела, и подтрунивала, и резвилась как-то живо, проворно, но без смеха. Обязанности свои она исполняла исправно, то есть аккуратно обрабатывала заданный хозяйкой урок, и потом уж принималась за песни. Не имея за душой никаких «пороков» и проделок, она, как мне казалось, не без гордости смотрела на своих подруг. По всему было видно, что она очень свято хранила деревенские заветы и увещания. Видно было, что в воображении ее еще слишком ярко стоял образ матери, которая так горько болела о предстоящей жизни своей дочери в Москве и давала деревенские советы насчет того, как «остерегаться»... Вопрос насчет этого крепко засел в голову Татьяны и сильно занимал ее. В дни моего пребывания жильцом Марьи Петровны Татьяна вся была поглощена недавнею историею Дуняши и, при всяком удобном случае, старалась свернуть об этой истории словцо: пример Дуняши и сознание собственных сил еще более укрепляли Татьяну насчет ее долгого века. Совсем не такого свойства была Дуняша. Собою она была недурна, в русском вкусе: полна, слишком бела и слишком румяна. Глаза маленькие, голубые, с каким-то вялым выражением; походка всей ступней, разговор тягучий.

Вообще в ней была заметна какая-то ленивая тоска.

Заходя иногда ко мне, она или конфузилась при самых невинных моих вопросах, или неожиданно рассказывала всю подноготную своего недавнего романа и в то же время видимо удивлялась, – что это она такое делает? При самом поверхностном знакомстве с ней я мог вполне убедиться, что Дуняша – одна из числа того огромного класса русских женских натур, которые решительно не знают, как собой распорядиться, если их судьбою не заведуют родители или вообще люди, власть над ними имеющие. Такие русские женщины без особенного ропота идут за людей, которые им положительно не нравятся, и, странное дело, сознание собственного несчастья – быть всю жизнь за нелюбимым мужем – иногда бывает для таких женщин единственным интересом жизни. Свободой такие женщины распорядиться не могут, не умеют, да и не знают, что такое свобода.

У Дуняши была мать, но не в Москве, а в деревне, и притом так далеко, что виделись они один раз в два года; следовательно, Дуняша была почти свободна. Принадлежа к сорту тех женщин, о которых я только что упомянул, она не могла ни любить, ни ненавидеть глубоко, потому что она умела только чувствовать, но не умела понимать. Отсутствие матери мало-помалу отучало ее от страха к угрозам, которые та сулила ей *в случае, ежели...* Между тем подошли лета. Дуняша чувствовала, что ей пора замуж; ей хотелось какой-нибудь перемены в жизни. Все работа да работа (хоть, и не уто-

мительная) ей надоела. И тут-то неожиданно случился роман. Частенько разговаривали мы об этом романе.

– Что же ты, – спрашивал я у нее, – очень любила его?

– Стало быть, любила! – вяло произносила она в ответ.

– И вовсе даже ты его ни чуточки не любила! – вставляла правдивая Татьяна.

– Ну ври!

– Да ей-богу!

– Не любила! – обидчиво вскрикивала Дуняша. – Что ж я, из корысти, что ли?

– Да и не из корысти!

– Тьфу! прости, господи! – сердилась Дуняша. – Аль я бешеная?

– И не бешеная!

– Ну, так как же это?

Дуняша краснела.

– А шут вас разберет!

– Это точно, – вмешивалась обыкновенно Акулина: – этого не разберешь... Наша сестра тем несчастна; что не знает, когда потеряет, а когда найдет... Этого не угадаешь... И с Авдотьей вот то же самое: так вот, тррр, тррр, колесом!..

И Акулина завертела руками, желая, невидимому, изобразить колесо.

– Будет вам, ради бога! И все-то это неправда! – говорила жалобно Дуняша.

– Как же это так, неправда-то? Это же какими такими

судьбами? – возразила Акулина. – Ну диви бы он уж был красавчик какой, афицерик или что-нибудь. А т-то, – делая отвратительную рожу и говоря каким-то отвратительнейшим голосом, продолжала она, – а т-то – лакей, спичка, выжига прокаленная, урод! То есть, вот, вполне вам объяснить – рожа! Картавит, ободранный... Тьфу!.. Даже противно! Ну и где же ты его любила?

– Обыкновенно любила! – крайне робко говорила Дуняша и, видимо, старалась понять, как же это так все случилось?

– И ведь, извольте видеть, – продолжала Акулина, – скачает-с!.. И полагает так, будто бы по нем-с...

– Конечно по нем... – говорила Дуняша...

– Врешь!..

– Нет, по нем!

– Врешь, говорю! – прерывала Акулина с сердцем. – Врешь! просто у тебя дурь в голове-то стоит... Вот!.. О, да господи, и не поймешь, что у них там в голове-то! Сказано – дуры, дуры и есть! Сдуру пропадет, да потом «люблю», вишь! Врунищи этакие! Вон Солоша (Соломонида), та, по крайности, прямо говорит мне...

Таким образом в истории Дуняши не было ни одного основательного повода, который бы мог объяснить ее несчастье. Как же это так? Погибнуть (Дуняша впоследствии погибла окончательно) безо всяких причин?

Герой Дуняшина романа закончил последнюю главу его тем, что тихонечко отыскал другое место и тихонечко туда переехал. Тайному побегу его способствовал дворник, хранивший тайну переселения на другое место до тех пор, пока переселение это не было устроено окончательно. Уладив это дело, дворник надел новую синюю чуйку, туго подвязал галстук, примазал салом белобрысые волосы, даже, кажется, смазал этим же салом кстати и всю физиономию и отправился в мастерскую Марьи Петровны.

– Хозяйка дома? – вежливо спросил он.

– Куда залез! – закричали на него девушки. – Убирайся! Мужлан!

– Будьте так добры! – вежливо говорил дворник. – Что такое? Марья Петровна у себя?

– Нету! Ступай!..

– А мне бы надо было. Дело есть!

– Ступай, ступай! Нечего проедаться.

– Я пойду... А Андрюшка-то (герой), – того... сбежал.

Дуняша ахнула и обмерла.

– Стал на место, не сказался где, этакой подлец! – продолжал дворник. – Как он про вас, Дунечка, отзывался...

– Как? – спрашивала плакавшая Дуня.

– Безобразно-с! Ругал, ругал!.. Уж он вас так-то ли... Да-

же слов нет!

– Ах он! – вскрикнула Дуня.

– Да-с. И не сказался. Стал на место неизвестно где...

Подлец!

Дворник постарался как можно лучше раскрасить Андриюшку и, когда убедился, что вполне достиг этого, почти-тельно раскланялся и ушел.

Такой, поистине лакейский, поступок героя первое время занял внимание всей белошвейной. Не знала только хозяйка: она вообще решительно ничего не знала, что делается у нее в доме.

Дуняша, слишком неожиданно получившая оскорбление, в первое время как будто бы изменилась: из вялой и кислой она стала решительнее.

– Я ему, подлецу, сделаю! – говорила она, стуча кулаком о кулак, когда по вечерам все швеи выходили на коридор.

Такие восклицания несколько недель сряду я слышал из моего окна постоянно.

– погоди он! – грозилась Дуняша, как будто затевая месть самого отчаянного свойства. Все интересовались знать, что такое она сделает, хотя для всех было очевидно, что она ровно ничего не сделает, несмотря на то, что заклалась, заклалась на смерть.

– Ни в жизнь, никогда! – говорила она совершенно искренно и горячо.

– Ну, это ты пустяки разговариваешь! – хладнокровно

возражала Акулина. – Ты это, Авдотья, так надо сказать, совсем пустые слова говоришь...

– Пустые? Нет, вот как! – восклицала Дуняша. – Ежели я... то не видать мне матери никогда!

– Ты с ума сошла видно? Что ты, – очумела? Разве это можно?.. А ну как матери-то и не увидишь? а? Скажите на милость, – обращалась Акулина ко всей публике, – совсем ведь девка-то ошалела! Ах ты, господи!

Но Дуняша крепилась и на этот раз, видимо, боролась даже; она так страшно поклялась насчет этого *никогда*, а между тем попрежнему находилась в тех же условиях, которые устроили ее первый роман. Условия эти хорошо знакомы всякому рабочему человеку и вообще всякому человеку неразвитому.

Нужно с особенною внимательностью изучить всю трудную жизнь рабочего человека, чтобы понять, как неизбежны были для Дуняши те вещи, от которых она «заклялась». Только рабочий человек может объяснить вам, почему он, например, так скотски напивается в минуту отдыха. Из объяснения его вы увидите, что заливание через край известного напитка совершается большею частью вовсе не с горя... Неразвитому, неученому рабочему некуда деть своего отдыха. После трудов, по большей части слишком однообразных, утомленные нервы, возвращенные наконец собственному благоусмотрению, неизбежно, настойчиво жаждут приятного.

В таком же точно положении была и Дуняша. Работа у ней была не утомительная, но слишком простая, однообразная. За работой не думала она ни о чем, и тем менее было пищи для ее ума во время отдыха. В такую пору швеи выходили обыкновенно на коридор и для развлечения имели перед собою следующую привлекательную и разнообразную картину: пустой и вонючий двор, по которому изредка двигались люди; прямо перед глазами каменная высочайшая глухая стена соседнего дома. И на этот вонючий двор и глухую стену смотрели все соседки мои не один уже год: все та же стена, все тот же двор! Господи! Как при таком одурении, которое непременно должно было явиться от такого бесчеловечного однообразия жизни, как не сделать самой страшной глупости? Утомление, производимое однообразием, здесь могло поспорить с утомлением от самого тяжкого труда. И если бы не рассказы Акулины, – думал я, – то почем знать, что было бы с этими девушками еще год тому назад? Матери и отцы их были далеко. Да в Москве и не в ходу материнская наука.

После заклятия, которое Дуняша наложила на себя, прогулки по коридору и созерцание стены продолжались по-прежнему, и, следовательно, все шло по-старому. Переждав первое время ненависти ко всем мужчинам, которую чувствовала Дуняша, дворник вторично напялил на себя новую синюю чуйку и, выбрав время, поместился посреди двора, против окна, на котором сидели белошвейки.

Сняв почтительно картуз, дворник раскланялся и произ-

нес:

– Все ли, красавицы, в добром здоровье?

– Мужик! – отвечали ему.

– Ах! – шутливо воскликнул дворник. – Что такое?

Неужто ж мужик не стоит ничего? не угодно ли, барышни, папиросочек? Легкие-с!

– Давай! – кричали ему сверху.

– Царь небесный! – с улыбкой воскликнул дворник. – Слава богу!

Через минуту он был на коридоре.

– Что же вы, Дунечка, как теперь?

– Ежели ты мне только посмеешь поминать об этом, – я тебя!

– Ой! – вскрикивал дворник.

– Чуфыря!

– Это еще что такое?

– Михрюк! – вставляла Татьяна.

– Хряк! – присовокупляла третья подруга.

Раздавался дружный хохот.

– Акулина Матвеевна! – говорил дворник, обращаясь к кухарке. – Как меня-то? Извольте слышать?

– Дуры! – решала Акулина.

– Нет-с! – заступался дворник. – Они – барышни, а мы мужики необразованные! Им обидно! Ну-с, до приятного свидания! бог с вами!

Уходя, дворник кивнул Акулине. С следующего дня, быть

может благодаря советам Акулины, дворник принял другую методику: он попрежнему расфранчивался, маслил волосы, но «мужицких» своих разговоров не разговаривал. Аккуратно, в известный час, он появлялся посередине двора и раскладывался.

– Иди сюда, Иван! – звала Акулина из коридора. – Иди к девушкам...

– Зачем ты его зовешь? – с негодованием восклицала Дуняша. – Мужичья образина!..

– И правду! – подтверждала Татьяна. – Этот еще хуже Андрюшки, Полено деревенское!

– Погляжу я на вас, – говорила Акулина, – и совсем-то вы дуры! ей-богу! «Хуже Андрюшки»? Ну как же ты смеешь это говорить? Андрюшка прощелыга, сделал грех и ушел – не сказался, а этот человек – строгий... всегда он дома, и уйти ему некуда!..

Входил дворник и робко помещался на кадушке против Дуняши, помахивая картузом.

– Что вылупился! – вскрикивала ему прямо в глаза Татьяна.

Дворник молча двигался на своем сиденье и не отвечал.

– У-у! рожа.

– Дура! как есть дура! Ты, Ваня, не смотри на нее, скоро и она хвост подожмет! – говорила Акулина.

– Как вам угодно! – жалобно произносил дворник и попрежнему сидел молча и недвижимо.

Так тянулось долго. Девушки шопотом разговаривали между собою. Иван, которого они ругали, сделался-таки единственным предметом для разговора.

– Иван! что ж, угощай девушек-то чем-нибудь! – командовала Акулина.

Мгновенно из карманов Ивана являлись папиросы, пряники, орехи.

Девушки долго отнекивались, но потом все-таки принимали услуги. В то же время Иван вздыхал, поднимался, жалобно говорил «счастливо оставаться» и уходил.

По уходе его продолжали лакомиться и подсмеивались над Иваном.

– Как это тебе, Татьяна, не стыдно? – говорила Акулина. – Он всей душой к вам, а вы над ним потешаться вздумали... И ты тоже, Авдотья!

– А мне что? – возражала Дуняша.

– Дура! – заключила Акулина. – Тьфу! По мне как хотите... Вот навернется другой Андрюшка, вспомнишь!

Дуняша не возражала: она боялась лишиться расположения Акулины; боялась этого потому, что без советов и указаний Акулины решительно не знала, что с собой делать.

Такие появления дворника происходили аккуратно каждый день вечером и тянулись месяца полтора. Впоследствии, уходя домой, он свидетельствовал почтение почему-то уже только одной Дуняше.

– Счастливо оставаться, Дунечка! – говорил он уходя.

– Что он ко мне прилипает? – досадовала Дуняша.

– Дура! – отвечала на это Акулина.

В самом деле, дворник ни для кого не был привлекательной личностью; кроме того, что он был нехорош собой, во вред его сердечным делам главным образом служило то, что он был «дворник». С чиновником, с *скубентом*, наконец, с купцом делать сердечные дела – еще так и сяк, можно бы; но дворник, мужик... Кроме него, в Москве разве мало приятных мужчин?

К несчастью, на нашем скучном дворе не попадалось приятных мужчин. К однообразию этого двора и вековой каменной стене присоединилась фигура дворника, и вот уже полтора месяца не сходит с глаз у исскучавшихся девушек. При полном презрении, которого, по понятиям девушек, он был достоин, дворник незаметно занял собою все внимание их и в особенности внимание Дуняши. Они над ним подсмеивались, выдумывали, какую бы устроить против него каверзу (впрочем, всегда невинную), но все-таки думы эти и придумыванья были для него и о нем.

Иногда, желая отделаться от него окончательно, все они уходили из коридора наверх и принимались петь песни. Вдруг Дуняша произносила:

– А Иван-то теперь ждет!

– Да чорт с ним! – отрезывала Татьяна.

И опять пели, и опять неожиданно кто-нибудь спрашивал:

– Ждет Иван-то?

– Ждет!

– Посмотри-ко в окно!..

– Ну-ко, я посмотрю...

Все разом высовывались в окно и разом восклицали:

– Ждет!..

Дело оканчивалось тем, что все шли на коридор;

Акулина звала Ивана, и происходило обычное молчаливое угощение.

Были минуты полнейшего негодования Дуняши на назойливость Ивана. Иван видел это, но ни на йоту не изменял своего поведения: в известные минуты он появлялся на своем месте и безмолвно смотрел на Дуняшу, по временам вздыхая.

Акулина не возражала на ругательства Дуняши; она пережидала.

Наконец место отчаянного негодования заступило полнейшее равнодушие, прежняя скука. Иван оправился, повеселел и к обычной своей фразе: «счастливо оставаться, Дунечка», начал прибавлять:

– А я, Дунечка, все об вас думал!..

– А мне какое дело?..

– Право-с!..

Встретив Дуняшу где-нибудь на дворе, он почтительно снимал фуражку и как-то загадочно говорил:

– Дуняша!

– Отстань!

Дворник вздыхал.

Дела шли с неизменным постоянством. Дуняша скучала. Скука давно изгладила в ее сердце сильное заклятие, которое она наложила на себя. Дворник попрежнему продолжал безмолвные визиты; Акулина глубокомысленно давала советы и особенное внимание обращала исключительно на Дуняшу. Между своими советами и рассказами она поминутно вставляла несколько ругательных фраз насчет Андрюшки и прибавляла тотчас же словечко в пользу дворника:

– Вот Ваня, – ну, этот не такой!

Услышав это, дворник, поднимаясь с бочки, на которой обыкновенно сидел, трогал туго затянутую шею, ловко встряхивал волосами и, крикнув, садился опять.

Одно и то же повторялось каждый день. Дворник сделался неизбежным для внимания девушек предметом, как и двор, как и стена.

Дуняша, некоторым образом вкусившая плодов любви, томилась.

Акулина подметила эту минуту. Сидя по вечерам на окне, я слышал, как она, оставаясь наедине с Дуняшей, заговаривала:

– Этот – не Андрюшка! По мне как хочешь; мне что! А я тебе всей душой говорю. Это человек строгий... Он любит порядок... Чего доброго и замуж возьмет!

Таким образом дворник, благодаря разговорам Акулины, приобрел вдруг неоцененное достоинство. На него начали

смотреть благосклонней. Даже Татьяна не огрызалась.

– Ну ты, жених! – покрикивала она на него при случае, и этим только ограничивалась.

Дворник все молчал; все чего-то ждал, нужно сказать правду, с убийственной стойкостью. Насчет свадьбы он не сказал еще ни одного слова. Дуняша попытала у него об этом через Акулину. Эта дама передала самый удовлетворительный ответ. Дуняша видимо обрадовалась, этому известию. Прибирала ли она у меня в комнате или гуляла на коридоре, только и разговору было, что про Ивана: какой он будет муж? будет ли драться? Мало-помалу Дуняша сроднилась с мыслью, что она невеста, и смотрела на Ивана как на жениха. Новое звание, приобретенное Иваном, расположило к нему всех. Отвращения уже не было. Не было и равнодушия: Иван ведь решался женитьбой прикрыть Дуняшин грех. Дуняша начала вступать с ним в разговор; сама приказывала, какого именно принести гостинцу.

Мало-помалу, при помощи скуки, пустоты и обещания жениться, дело было так поведено, что в один из вечеров произошла на коридоре следующая сцена.

– А что, Дунечка, – заговорил дворник, – вы всё сидите? Всё бы когда по Тверскому прошлись... Публика любопытнейшая и опять же музыка.

– Я и не знаю, – поддакнула Акулина, – что это за девки такие? Всё дома, всё дома... Диви бы кто их на цепи держал, ей-богу!

Дуняша покраснела.

– А и то! – тихо сказала она. – Татьяна, ты пойдешь?

– О, да ну вас...

– А тебе непременно Татьяну! Ты без Татьяны, кажется, шагу не сделаешь? – присоветовала Акулина.

– Нашему брату, – продолжал дворник, – нашему брату дело другое. Нам ни на минуту отлучиться нельзя. А вы куда захотели – туда и пошли... Да право-с!

– И то! – весело сказала Дуняша и бегом побежала наверх одеваться. За ней и другие.

Тотчас по удалении девушек дворник быстро вскочил с бочки и каким-то испуганным шопотом, скороговоркой, заговорил с Акулиной. Та, не отвечая, вырвала из его рук картуз, поспешно надела его на голову Ивана, козырьком набок, и, повернув его за плечи, почти спихнула с лестницы. Через секунду дворник, как молния, мелькнул по двору и скрылся под воротами.

Ни на другой, ни на третий день Дуняша не показывала глаз в мою комнату. В мастерской было какое-то затишье; Акулина, напротив, все эти дни была под хмельком и чувствовала прилив необыкновенной словом охотливости. Дворник на другой же день скинул свой праздничный костюм и шатался в одной распоясанной рубаше. Он сделался вдруг разговорчивым, даже подсмеивался над швеями, покрикивая им со двора:

– Эй вы, мымыры! Что приуныли?

И целые дни горланил песни самого бессмысленного свойства, как, например:

Мне не жалко туфеля,  
Жалко белого чулка...  
Ах, ха, ха... Ах, ха, ха.

Или, наконец, просто орал на разные тоны.

\* \* \*

Спустя довольно долгое время после второго романа Дуняши (к которой вернусь в следующей главе) произошла удивительная история с Татьяной, оправдавшая вполне предсказания Акулины. История эта до такой степени удивительна, что я, не решаясь и не имея никакой возможности объяснить ее происхождение, берусь передать дело так, как оно произошло, по точным рассказам всего швейного мира.

Дело происходило таким удивительным образом.

Как я уже сказал, Татьяна была самая рассудительная из всех швей, работавших у Марьи Петровны. Каждое сердечное несчастье той или другой из подруг ее еще более укрепляло Татьяну в уверенности, что ее век действительно очень долог. Да и, кроме того, обращение ее с мужчинами показывало, что она подозревает почти всех мужчин в мире в самых грубых поползновениях. Она, не робея, отталкивала непро-

шенного обожателя, если тот предлагал пройтись «под ручку» или был настолько предупредителен, что охотно брался проводить ее до дому. Татьяна спасовала в одном, повторяю, совершенно невероятном событии.

Однажды, часа в два дня, возвращалась она из лавки с тесемками в руках. В это время кто-то, не говоря ни слова, подхватил ее «под ручку» и спокойно произнес:

– Куда ты, милочка, бежишь?

Татьяна в испуге бросилась от своего кавалера; но тот крепко держал руку ее и, улыбаясь, говорил:

– О, глупая!

– Отстаньте! – крикнула Татьяна.

Татьяна начала отбиваться и наконец вырвалась. Тотчас же она юркнула под ворота. Господин в пуховой шляпе, с сероватыми усами, улыбался и шел за ней следом. Наконец она добралась к двери своей квартиры. Господин остановился рядом с ней.

– Уйдите, ради бога! – убедительно просила его Татьяна, боясь хозяйки, которая в эту пору обыкновенно бушевала в мастерской... – Хозяйка дома, она увидит... Подумает...

– Что ж такое? Как ее звать?

Танечка решительно не знала, что делать. Вдруг она отворила дверь, юркнула в кухню и заперла дверь на крючок.

– Слава богу! – говорила Татьяна, очутившись в кухне и дрожа от испуга.

В это время неожиданно раздался звонок с парадного хо-

да.

– Татьяна, отвори! – приказала Акулина.

– Ну-ко он?

– Отвори!

Звонок повторился. Татьяна отворила: это был *он*.

– А! вот и ты! Ну, проводи меня в комнату...

– Барин, голубчик! Тут хозяйка!

– Ну, в кухню проводи! Хозяйка? Что ж такое? Где кухня?

Барин прошел в переднюю и потом в кухню.

– Кто там? – крикнула сверху хозяйка.

– Это... к Акулине! – ответила Танечка.

Между тем барин уселся в кухне на лавке; снял шляпу, закурил не спеша папироску – и разговорился с Акулиной. Барин был так прост с ней, несмотря на то, что, повидимому, был очень богат, что Акулина тотчас же растаяла перед ним. Через две-три минуты к Татьяне, присутствовавшей в кухне, присоединились две-три подруги сверху, и барин просто обворожил их. Он показывал, например, ключик от своих золотых часов: в ключе была сделана микроскопическая картинка клубничного свойства; девушки смотрели и помирали со смеху; дверь из кухни поэтому заперли. Такого же свойства картинки были сделаны у барина в палке, в папироснице и, кажется, во всех пуговицах жилета. Барин все это показывал им и вместе с ними смеялся. В заключение он показал свою палку; все нашли, что в палке нет ничего особенного. Тогда барин из палки сделал стул, и каждая из девушек счи-

тала обязанностью присесть. Даже Акулина попробовала и нашла стул великолепным.

Все были в восторге.

Показав стул, барин опять сложил его в палку, взялся за шляпу и сказал Татьяне весьма ласково:

– Так уж, милая Танечка, я у вас буду опять!

– Ах нет, нет.

– Буду, буду-с!.. Непременно-с!.. К пяти или к шести часам в четверг... Поедем, погуляем!

– Что вы! что вы! – закричали все девушки.

– Непре-мен-но-с! К шести часам!

Барин скрылся.

Танечка, да вообще весь швейный мир решительно не знали, что подумать об этом и что тут делать. Самое вероятное было то, что храбрая Татьяна начала бояться незнакомого господина, *как барина*.

Акулина не могла ничего присоветовать. Сказать хозяйке – та не поймет, в чем дело, разорется, подумает бог знает что и изобьет. Я присоветовал прогнать – все возопили.

– Он те прогонит! – говорила Танечка.

Целую неделю вплоть до четверга она ходила в каком-то забыты, в лихорадке. Я старался ее разуверить, что барин не приедет и не посмеет ничего сделать, и Танечка немного успокоилась. Пришел четверг. Пробило шесть часов – барина не было. Я ушел из дому в полной уверенности, что он не будет совсем, потому что, в самом деле, не мог себе пред-

ставить, чтобы на белому свете мог существовать подобный наглец.

Вечером, однако, я узнал следующее.

По уходе моем Танечка была совершенно спокойна. Она вместе с другими сидела в кухне и пела песни, на дворе шел дождь.

– Не придет! – говорили все.

Вдруг дверь отворилась, и барин – мокрый, с зонтиком – вошел в кухню. Все обомлели в буквальном смысле слова. Закоченели, замерли.

– Готова? – спросил барин.

Татьяна была бледна, как полотно. Она так испугалась «барина», что не нашла против его требований никакого возражения. Она вдруг почувствовала себя во власти этого «барина», крепостной страх охватил ее, и она едва-едва пролепетала:

– Башмаков... нету!

– Так дайте же кто-нибудь башмаки! Эй ты, дай ей башмаки!

– Авдотья, дай! – шопотом приказала Акулина, решительно не понимавшая, что делается кругом.

Танечка, не помня, что делает, торопливо надевала башмаки.

– Это несносно! – горячился барин. – Дайте же ей чем-нибудь накрыться... Это чорт знает что такое!.. Лошадь ждет!.. Дайте хоть платок!

Мигом принесли всё; Танечка сама торопливо укуталась; а Акулина, также вся охваченная атмосферой крепостных преданий, проворно выговорила с угодливостью рабыни:

– Готова-с!

Барин с сердцем толкнул дверь, вывел Танечку за руку и скрылся.

Все были поражены и решительно не могли ничего сообщить.

Я воротился часов в одиннадцать ночи. В кухне против обыкновения был огонь. Все швеи сидели вокруг стола и молча смотрели на Татьяну, которая была вся в слезах.

– Танечка, что с тобой? – спросил я.

– Убирайтесь вы! – неистово закричала она на меня.

Я ушел к себе в комнату. Через несколько минут ко мне тихонько явилась Акулина и шопотом передала только что случившуюся историю. «Барин» оказался одним из крупнейших московских обжор и воротил; с ним *ничего нельзя было сделать* (на Руси есть такой тип!), так как всякое дело он мог «затушить» и уже давно привык к этому. Он был нагл, потому что *все мог*.

После таких треволнений, возмутивших спокойствие нашей квартиры, настало совершенное затишье. Дуняша спокойно путешествовала в дворницкую; Танечка притворилась, как будто с ней ничего и не бывало; хозяйка попрежнему не платила денег, и к вящей тишине и спокойствию нашей квартиры – даже не являлся управляющий. Хозяин по-

прежнему возвращался под хмельком, на заре, и вообще все шло по-старому. Солоша, третья личность, на которую я хотел обратить внимание, все шепталась о чем-то с Акулиной, и в кухне начали появляться какие-то старухи; слышно было, что Солоше сулят счастье и благоденствие. В последнее время даже у Татьяны завелись какие-то тайны; по вечерам и она исчезала куда-то вместе с Дуняшей. Все это делалось втихомолку, тайком, крадучись.

Несмотря на это, повторяю, в нашей квартире было полное затишье. Так тянулось месяца три. Затишье сделалось до такой степени несносной вещью для всех, что вся квартира наша жаждала какой-нибудь перемены.

Судьба положила предел этой тишине катастрофой, ужасной и трагической.

Началось дело с того, что в один вечер Дуняша явилась ко мне под хмельком и едва ворочавшимся языком объявила, что Иван ее обманул. Он отпирается от своих слов насчет женитьбы. «Ты, – говорил он Дуняше, – несоответственного поведения... Мне этого нельзя!» Дуняша плюнула по этому случаю дворнику в бороду и убежала искать старого друга Андрюшку. Кроме отказа от женитьбы, дворник сделал еще другую безобразную вещь: он утаил адрес Андрюшки, который, уходя в Грузины, дал его для передачи Дуняше.

Дворник, убедившись, что последовал разрыв, расславил Дуняшу на весь дом и не давал проходу через двор. Андрюшка, которого Дуняша нашла-таки, изображал из себя оби-

женного человека и обошелся холодно.

Чтобы отделаться от старой подруги своей, он напоил ее допьяна и отправил на извозчике домой.

С этого дня начались ссоры и брань. Дуняша ругалась с Акулиной. Акулина утверждала, что она никогда не говорила Дуняше насчет женитьбы Ивана, и тоже ругалась. Дуняша снова заклалась; но чрез день прошел слух, что ее сманил «старик-табатер», сделавший ей шелковое платье. Дуняша начинала являться домой все чаще и чаще под хмельком.

В эту пору неприятно было ее видеть.

За этим, как кажется, плачевным окончанием Дуняшиной жизни последовало новое, глубоко печальное событие.

В одно утро, уже часу во втором дня, на двор с грохотом влетела пролетка, и скоро в кухню вбежал трактирный половой в чуйке.

– Здесь девица? – шопотом спросил он.

– Ты от кого? – спросила в свою очередь Акулина.

– Из трактира «Ростов»... Здесь, через Анну Филипповну, рекомендовали одному купцу даму – Соломониду?..

– Здесь...

– Пожалуйста. Они требуют... Так как они желают их для услужения... Опять же деньги получены...

– Половину денег получили... только; где же остальные?

– На месте-с!

Разговор этот происходил шопотом; но я слышал его, стоя на лестнице и приготовляясь отнести в кухню графин. Все,

что только услышал я, испугало меня. Очевидно было, что Соломонида была «продана» и – что особенно горько – желала быть проданной; я теперь только уяснил себе «шопот» между нею и Акулиной, и этот шопот теперь выяснился мне как спокойный, торговый разговор. Я тотчас же отправился в залу, чтобы объяснить Марье Петровне все, что у нее делается. Марья Петровна была любезна сверх сил. Я надеялся высказать ей много, как неожиданно раздался опять звонок, и спустя несколько минут явился управляющий.

Марья Петровна встретила его с обычной восхитительной улыбкой; но управляющий, к удивлению ее, не улыбался, даже не поклонился, а прямо подошел к ней и с сердцем сказал:

– Извольте выехать немедленно с квартиры!..

– Однако, вы говорите дерзости...

– Я терпел-с; был снисходителен... Но мера из границ вышла... Извольте выехать... Долг взыщут чрез полицию.

Хозяйка сидела бледная и дрожала от негодования.

– Кроме того, у вас... у мастериц развиваются болезни...

Господин доктор!

Из передней выступил полицейский доктор.

Начался общий плач. В самом деле, следы заразной болезни были очевидны. Даже у маленькой Ани голова была в струпьях.

Удар для всех был неожиданный. Девушки, узнав, что их будут «требовать» к доктору и после этого первого визита, – бросились к матерям, у кого последние жили в Москве. Яви-

лись матери и отцы, начались слезы, ругательства, проклятия. Ссора и плач стояли по всей нашей квартире. К довершению всех бед хозяин, пьяный, разбил голову, и его принуждены были свезти в больницу... Купчиха-вдова, узнав, что делается в заведении Марьи Петровны, боялась принимать ее к себе. Марья Петровна рыдала. С квартиры гнали с удивительной настойчивостью. Не было сил жить в этом омуте. Я переехал.

\* \* \*

Прошло более двух лет после только что рассказанной истории, и однажды мне снова довелось встретить одну из моих старых знакомых, именно Дуняшу. Встреча эта была возмутительна. Раз шел я по Страстному бульвару. На середине его, у загородки, выходявшей (в то время) на большую Сенную площадь, что за Страстным монастырем, столпилась огромная толпа всякого проходящего народа. Некоторые смеялись, большинство же стояло молча или разговаривало негромко. Я пробрался через толпу к бульварной загородке и увидел следующую картину: на каменной мостовой сидело несколько женщин известного сорта и выщипывали руками траву, прораставшую между камнями. Женщины эти были грязны и одеты в какую-то подозрительную рвань; головные платки, завязанные концами на спине, были спереди надвинуты на глаза для того, чтобы скрыть от зрителей

физиономии. Все эти женщины были еще очень молоды, и некоторые из них, несмотря на свой позор, находили возможность даже хохотать, перекидываясь остротами с зрителями Страстного бульвара. Тут же поодаль от них стоял горюховый и какой-то жид с бадьей воды: день был жаркий, и жид поминутно подносил эту бадью то к той, то к другой из женщин. В одной из них я, не без сожаления, узнал Дуняшу.

Из разговоров, происходивших в толпе, я узнал, что несчастные эти наказываются «уличной работой» по распоряжению полиции.

– Скажите на милость, – со вздохом произносил кто-то из зрителей: – и при всем том многие еще находятся – жалеют! Ах вы, грабительницы этакие!

# Примечания

Впервые рассказ появился в газете «Петербургский комиссионер», 1866, № № 151, 153, 154, 155, 159, под заглавием «Первая квартира (Из московской жизни)»; с сокращениями, исправлениями текста и с новым, эпилогом перепечатывался самим автором в сборнике «В будни и в праздник» 1867 года; в 1875 году под названием «Швей (Из московской жизни)» был напечатан в сборнике «Глушь», в отделе «Из столичной жизни», опять с новыми сокращениями; с прежним заглавием «Первая квартира» и подзаголовком «Из записок пролетария» рассказ печатался в «Сочинениях», где он вновь подвергся тщательной стилистической правке и сокращениям.

Рассказ написан на материале наблюдений Успенского в Москве, где он жил в течение 1862–1863 годов. В своей автобиографии Успенский помечает: «Жил я у одной madame, где были швей. Один из рассказов касался этого времени». Началом творческого замысла этого произведения надо считать декабрь 1863 года (очерк «Ночью», из второй части которого писатель и создал настоящий рассказ, появился в январской книжке «Русского слова» за 1864 год).

Печальную участь девушек-швей, вырванных из крестьянской среды пореформенным разорением деревни, Успенский объясняет материальными и социальными усло-

виями «трудной жизни рабочего человека» в то время; именно жизнь трудящегося Успенский в этом рассказе предлагает изучить с «особенною внимательностью». Судьба городской швеи интересовала и других писателей-демократов 60-х годов – см., например, рассказ 1863 года А. Левитова «Московские комнаты снебилью».

Чиновник особых поручений Вильде протестовал против напечатания этого рассказа для широкой публики, ссылаясь на «явно тенденциозное содержание» рассказа, «цель которого – выставление наиболее темных сторон нашей общественной жизни» (письмо его начальнику Главного управления по делам печати). В 1903 году цензор Н. М. Соколов запретил к печати отдельным изданием для народа рассказы «Старьевщик» и «Первая квартира».